

2.2. Социальная дифференциация языка

Проблема социальной дифференциации языка имеет давнюю традицию в мировой лингвистике. Она берет свое начало с известного тезиса И. А. Бодуэна де Куртенэ о “горизонтальном” (=территориальном) и “вертикальном” (собственно социальном) членении языка [Бодуэн де Куртенэ 1968]⁸. Этой проблеме в первой трети XX в. уделяли внимание такие известные представители французской социологической школы в языкознании, как А. Мейе, ученики знаменитого швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра — А. Сэшеэ и Ш. Балли, Ж. Вандриес (Бельгия), А. Матезиус и Б. Гавранек (Чехословакия), Э. Сепир (США), Дж. Фёрс (Англия) и другие. Значителен вклад в изучение этой проблемы отечественных языковедов — Е. Д. Поливанова, А. М. Селищева, Р. О. Шор, Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, В. М. Жирмунского, М. Н. Петерсона, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, М. М. Бахтина и других.

Для современного этапа разработки этой проблемы характерны следующие особенности:

1. Отказ от широко распространенного в прошлом прямолинейного взгляда на дифференциацию языка в связи с социальным расслоением общества. Согласно этому взгляду расслоение общества на классы прямо ведет к формированию классовых диалектов и “языков”. Особенно отчетливо такая точка зрения была выражена А. М. Ивановым и Л. П. Якубинским в их книге “Очерки по языку” (1932), а также Л. П. Якубинским в работах “Язык пролетариата”, “Язык крестьянства” и других, опубликованных в 1930-е годы в журнале “Литературная учеба”.

Более убедительной и в настоящее время разделяемой большинством лингвистов является точка зрения, согласно которой природа и характер отношений между структурой общества и социальной структурой языка весьма сложны, непрямолинейны. В социальной дифференциации языка

⁸ Любопытно, что такого же понимания и употребления терминов-метафор *горизонтальное* и *вертикальное* членение языка придерживается американский социолог Дж. Хертцлер [Hertzler 1965: 308 и след.]. Однако в его книге, появившейся полвека спустя после указанной работы И. А. Бодуэна де Куртенэ, имя последнего не упоминается. По-видимому, в данном случае речь должна идти об обычном совпадении, а не о заимствовании, так как едва ли Дж. Хертцлер знал о работах Бодуэна де Куртенэ.

получает отражение не только и, может быть, даже не столько современное состояние общества, сколько предшествующие его состояния, характерные особенности его структуры и изменений этой структуры в прошлом, на разных этапах развития данного общества. В связи с этим необходимо помнить неоднократно высказывавшийся языковедами прошлого, но не утративший своей актуальности тезис о том, что темпы языкового развития значительно отстают от темпов развития общества, что язык в силу своего предназначения быть связующим звеном между несколькими сменяющимися друг друга поколениями гораздо более консервативен, чем та или иная социальная структура.

“Социальная дифференциация языка данного общественного коллектива, — писал по этому поводу В. М. Жирмунский, — не может рассматриваться статически, в плоскости синхронного среза, без учета динамики социального развития языка [и, добавим, общества]. Язык данной эпохи, рассматриваемый в его социальной дифференциации, всегда представляет систему в движении, разные элементы которой в разной мере продуктивны и движутся с разной скоростью. Механическое сопоставление последовательного ряда синхронных срезов также не в состоянии воспроизвести динамику этого движения. Описывая структуру языка с точки зрения ее социальной дифференциации, мы должны учитывать ее прошлое и будущее, т. е. всю потенциальную перспективу ее социального развития” [Жирмунский 1969: 14].

2. С отказом от прямолинейной трактовки проблемы социальной дифференциации языка и признанием сложности социально-языковых связей сопряжена другая особенность разработки указанной проблемы в современном языкознании: при общей тенденции к выявлению системных связей между языком и обществом социолингвисты указывают на механистичность и априоризм такого подхода к изучению данной проблемы, который декларирует полную изоморфность (полную соотносительность свойств) структуры языка и структуры обслуживаемого им общества.

Преувеличенное и потому неправильное представление об изоморфности языковой и социальной структур в определенной мере объясняется отсутствием до сравнительно недавнего времени конкретных социолингвистических исследований — в трактовке социально-языковых связей

преобладал умозрительный подход. С появлением работ, опирающихся на значительный по объему языковой и социальный материал, шаткость теории изоморфизма стала более очевидной.

Как показывают эти исследования, социальное достаточно сложно трансформировано в языке, вследствие чего социальной структуре языка и структуре речевого поведения людей в обществе присущи специфические черты, которые хотя и обусловлены социальной природой языка, но не находят себе прямых аналогий в структуре общества. Таковы, например, типы варьирования средств языка, зависящие от социальных характеристик говорящих и от условий речи (социальная и ситуативно-стилистическая вариативность по Лавову; см. [Лавов 1975]).

“Нет простого и очевидного соответствия между характером социальных и экономических условий, с одной стороны, и языковыми особенностями — с другой, — пишет современный немецкий лингвист М. Бирвиш. — Иначе говоря, основные различия между экономически неоднородными социальными группами не имеют прямого отражения в системе языковых разновидностей, существующих в данном языковом сообществе” [Bierwisch 1976: 420].

Даже в тех случаях, когда социальные факторы выступают в качестве детерминантов речевого поведения, между этими факторами и обуславливаемой ими языковой неоднородностью нет взаимно-однозначного соответствия. Например, от структуры отношений между участниками общения в значительной мере зависит выбор говорящими функциональных стилей языка, однако между типами этих отношений (официальные — нейтральные — дружеские) и функциональными стилями нет полного соответствия: при официальных отношениях могут использоваться и официально-деловой, и научный, и публицистический стили, а один и тот же стиль, например научный, может применяться и при официальных, и при нейтральных, и даже при дружеских отношениях между участниками коммуникативной ситуации.

Кроме того, механизм изменения стилистического рисунка речи неадекватен механизму изменения тональности речевого общения — ослабление социального контроля над речевым поведением коммуникантов (например, при переходе от официальных отношений к неофициальным) не ведет к снятию контроля нормативно-языкового (обычно об-

щающиеся продолжают придерживаться принятых в данном языке норм).

3. Для разработки проблемы социальной дифференциации языка в современной социолингвистике характерен более широкий, чем прежде, взгляд на эту проблему. Она начинает рассматриваться в контексте варьирования средств языка (которое может обуславливаться как социальными, так и внутриязыковыми причинами); в том числе и таких средств, которые принадлежат к относительно однородным языковым образованиям, каким является, например, литературный язык.

Некоторые исследователи говорят об уже сформировавшейся теории варьирования, которая описывает различные колебания в языке и в его использовании. Эта теория опирается на постулат, согласно которому реальное речевое поведение человека определяется не только его *языковой компетенцией*, но и знанием социально обусловленных *коннотаций*, т. е. смыслов, сопутствующих основному значению слова. М. Бирвиш, например, считает, что, поскольку разные люди усваивают язык в разных социальных условиях, они в результате овладевают “разными грамматиками языка” и описывать эти различия надо с помощью особых “расширительных правил” (*extension rules*), которые учитывают сведения как о самих языковых единицах, так и об их коннотациях [Bierwisch 1976: 442 и след.]. В непосредственную связь с таким аспектом изучения социальной дифференциации языка можно поставить и все более настойчивые попытки ученых отказаться от слишком “жесткого”, опирающегося исключительно на социальные критерии подхода к расслоению языка на различные подсистемы и привлечь для решения этой проблемы функционально-стилистическую варьированность языковых образований.

Такие социальные категории, как *статус*, *престиж*, *социальная роль*, некоторые исследователи рассматривают в качестве факторов, влияющих на стилистическое варьирование языка. Чешский лингвист Й. Краус положил в основу предложенной им классификации именно эти категории при исследовании стилеобразующих факторов, среди которых он различает: 1) связанные с характером языковых сообщений и их функцией, 2) связанные с ориентацией говорящего на слушающего и 3) связанные с оценкой личности говорящего [Краус 1971]. Внимание к фигуре говорящего

как к одному из основных факторов, обуславливающих варьирование речи, выделение различных типов говорящих в зависимости от социальных и ситуативных признаков характерно для ряда современных исследований в области стилистики. Таково, например, новаторское для своего времени исследование У. Лабова, в котором фонетическая вариативность современного американского варианта английского языка (American English) рассматривается в зависимости от социального расслоения говорящих и от стилистических условий речи.

Плодотворную попытку связать ролевую структуру поведения человека с функционально-стилистической дифференциацией языка предпринял петербургский лингвист К. А. Долинин. По его мнению, функциональные стили — «это не что иное, как обобщенные речевые жанры, т. е. речевые нормы построения определенных, достаточно широких классов текстов, в которых воплощаются обобщенные социальные роли — такие, как ученый, администратор, поэт, политик, журналист и т. п. Эти нормы — как и всякие нормы ролевого поведения — определяются ролевыми ожиданиями и ролевыми предписаниями, которые общество предъявляет к говорящим (пишущим). Субъект речи (автор) знает, что тексты такого рода, преследующие такую цель, надо строить так, а не иначе, и знает, что другие (читатели, слушатели) ждут от него именно такого речевого поведения» [Долинин 1978: 60]. Функциональные стили отражают «традиционное представление о данного рода деятельности, сложившееся в данной культуре, ее (деятельности) социальный статус, — т. е. как на нее смотрят в обществе, какие требования предъявляют к тем, кто ею занимается, — опять-таки ролевые предписания и ролевые ожидания, которые, будучи приняты субъектом, определяют его отношение к себе как исполнителю роли, к адресату речи как ролевому партнеру и к предмету речи как объекту ролевой деятельности» [Там же: 62].

Отмечая сравнительную новизну «социально-стилистического» аспекта изучения социальной дифференциации языка, надо, однако, сказать, что предпосылки к социологической интерпретации стилистических различий в языке были заложены в работах языковедов первой половины XX в. В этом отношении особенно показательны труды академика В. В. Виноградова, для лингвистической концепции

которого был весьма характерен *социально-стилистический* анализ языка.

Исследуя историю русского литературного языка XVII—XIX вв., В. В. Виноградов настаивал на конкретно-историческом характере описания различных его подсистем. Такие понятия, как просторечие, простонародный язык, чиновничий язык, солдатский жаргон и другие, трактовались им по-разному в зависимости от того, к какому этапу развития русского языка эти понятия прилагались. Говоря, например, о различиях между просторечием и простонародным языком в конце XVIII — начале XIX в., В. В. Виноградов писал:

«...Понятие просторечия охватывало широкую, ненормированную, разнородную область фамильярно-бытовых стилей “не офранцузившегося” дворянства, духовенства, различной интеллигенции и даже мещанства. Просторечие претендовало на роль национального выразителя коренных русских бытовых начал — в отличие, с одной стороны, от ученого, книжного, “славянского” языка, а с другой — от чужих, заимствованных, по преимуществу французских форм речи русских европейцев <...>. Просторечие представляло пеструю смесь “народных”, т. е. не имевших узкообластного значения, слов и идиом городского общеупотребительного говора <...> общеупотребительных профессионализмов и арготизмов <...> и подвижного фонда выражений из различных социальных стилей буржуазно-дворянской и мещанско-крестьянской устной речи» [Виноградов 1935: 387].

Простонародный язык, в отличие от просторечия, по Виноградову — это «обиходный язык крестьянства (независимо от областного деления на диалекты), дворни, городских ремесленников, мещанства, мелкого чиновничества, вообще мелкой буржуазии, не тронутой просвещением. Он вклинивался в просторечие, питался его формами и пополнял их <...>. Вообще граница между просторечием и простонародным языком была очень подвижной, извилистой <...>. В своих “низких”, наиболее далеких от сферы литературного повествования формах дворянское просторечие сливалось с простонародностью» [Там же: 392].

При изучении русского литературного языка, его истории В. В. Виноградов за стилистическими разновидностями литературного языка стремился увидеть их “социальную подоплеку”, а во взаимоотношениях литературного языка с

просторечием, диалектами, жаргонами — взаимные связи коллективов носителей этих языковых подсистем.

Для понимания того, как В. В. Виноградов объяснял социальное расслоение языка, важно неоднократно выдвигавшееся им положение о социально-экспрессивной окраске, присущей языковым средствам. Характерно, что он рассматривал ее в связи с социально-коммуникативной закрепленностью различных функциональных разновидностей речи. В этом он предвосхитил некоторые идеи современной социолингвистики о зависимости речи от ситуации и от социальных ролей коммуникантов. Вот что, например, он писал о разновидностях диалога:

«В общественном сознании закреплены шаблоны диалогов, дифференцированных по типичным категориям быта. Так, говорится: “официальный разговор”, “служебный”, “интимный”, “семейная беседа” и т. п. Даже с представлениями о разных формах социального взаимодействия, как-то, например, “судебный процесс”, “дискуссия”, “прения” и т. п., у нас соединяются определенные ассоциации о сопровождающих их формах речеведения. Как существуют разные виды социально-экспрессивной окраски слов, так есть и разные типы социально-экспрессивных разновидностей диалога» [Виноградов 1965: 161].

Указывая на гетерогенный характер языковых образований, которые традиционно рассматривались как нечто целое (имеются в виду социальный диалект, профессиональный жаргон, крестьянский говор), на их чрезвычайно сложное и в разные эпохи различное дробление в зависимости от ряда факторов, В. В. Виноградов призывал учитывать социальную и стилистическую окраску, которую несут на себе слова, попадающие в литературную речь из некодифицированных разновидностей русского национального языка. Его собственные характеристики языковых средств с этой точки зрения представляют собой блестящий образец социолингвистического анализа языковых фактов.

За каждым фактом языка В. В. Виноградов видел социальное лицо носителя языка, и его стилистические квалификации тех или иных слов и оборотов являются одновременно и социальными их характеристиками. Можно сказать, что В. В. Виноградов стоял у истоков *социостилистики* — социолингвистической дисциплины, которая лишь в последнее время получает систематическое развитие.

При сравнении современных социостилистических исследований с работами В. В. Виноградова надо отметить увеличивающуюся детальность анализа, стремление обнаружить социальные различия на всё более мелких “участках” языковых образований.

Так, социально обусловленная вариативность средств обнаруживается даже в такой подсистеме национального языка, как язык литературный, единство и нормативность которого сознательно культивируются и охраняются общественными и научными институтами. Современные исследователи различают литературный язык как теоретический конструкт и как данность, как реальную коммуникативную систему, функционирующую в тех или иных конкретных национальных условиях: “единый литературный язык является скорее тенденцией или идеальным заданием, нежели реальностью” [Степанов 1969: 308]. В действительности же “в синхронном срезе национального литературного языка может иметь место его функциональная дифференциация, объясняемая: а) существованием региональных вариантов или субстандартов литературного языка; б) социальной стратификацией литературного языка” [Ярцева 1977: 12].

Современный русский литературный язык не является в этом отношении исключением. Для всей его системы характерна вариативность средств, обусловленная не только функционально-коммуникативными факторами, но и факторами социальными — различиями говорящих по возрасту, роду занятий, уровню и характеру образования и некоторым другим признакам.

Социально маркированы также оценки фактов языка его носителями. То, что воспринимается нейтрально представителями одних социальных групп, у представителей других вызывает протест или раздражение, а третьи отстаивают его как единственно возможный способ выражения. Те или иные языковые единицы могут оцениваться как символы принадлежности говорящего к определенной социальной группе. Например, произношение [шы]гá, [жы]рá характерно для старшего поколения потомственных москвичей, употребление форм [что], конé[чн]о свойственно речи петербуржцев, произношение полумягких [ж], [ш] в иноязычных словах типа *жюри*, *брошюра* обнаруживается в речи некоторых представителей старой интеллигенции и т. п. (подробнее об этом можно узнать из работы [Крысин 2000]).

Характеризуя в целом современный этап в разработке проблемы социальной дифференциации языка, надо подчеркнуть интерес исследователей к промежуточным образованиям — *полудиалектам, интержаргонам*, которые формируются во многих национальных языках и обусловлены интеграционными процессами, происходящими в современных обществах (сближением различных социальных слоев и групп, миграционными процессами, урбанизацией населения и связанным с этим объединением в условиях города разнодиалектных и разноязычных групп людей, увеличением социальной мобильности и т. п.).

2.3. Социальная обусловленность языковой эволюции

В тесной связи с проблемой социальной дифференциации языка находится проблема социальных условий, в которых существует и развивается каждый конкретный язык. И теснота такой связи вполне понятна: социальная дифференциация языка на том или ином синхронном срезе является результатом его развития, в котором немаловажную роль играют социальные факторы, и наоборот, характер развития языка, специфика его функционирования могут в той или иной степени обуславливаться его социальной структурой.

Идея социальной обусловленности языковой эволюции отнюдь не нова. Она следует из аксиомы, согласно которой язык есть явление общественное, а коли это так, то, естественно, развитие языка не может быть полностью автономным: оно так или иначе зависит от развития общества. Вопрос заключается в том, как именно изменения в общественной жизни влияют на изменения в языке, каков механизм такого влияния.

Ответ на этот вопрос мы находим в работах ряда отечественных и зарубежных ученых. Особое место в этом ряду занимают труды Евгения Дмитриевича Поливанова (1891—1938), которому принадлежат многие новаторские для его времени мысли о социальной обусловленности развития языка. Кое-что из высказывавшегося Е. Д. Поливановым в 1920-е годы получило отклик и дальнейшее развитие лишь много лет спустя — в 60—70-е годы XX в. Для пони-

мания современного состояния социолингвистики полезно выяснить, что из лингвистического наследия выдающегося ученого восприняли нынешние исследователи языка.

2.3.1. Социолингвистическая концепция Е. Д. Поливанова

Рассматривая вопрос о социальной обусловленности языка, Е. Д. Поливанов неоднократно указывал, что в прошлом языковеды уделяли недостаточное внимание социальным причинам языковых изменений. В лучшем случае это делалось декларативно, а в конкретных лингвистических исследованиях “социальная сторона языкового процесса на деле оставалась почти без внимания” [Поливанов 1968: 52]. В действительности же наука о языке должна быть не только естественно-исторической, но и социологической.

Важнейшим компонентом социологической лингвистики Е. Д. Поливанов считал теорию языковой эволюции, точнее — ту ее часть, которая должна иметь дело с выяснением социальных причин языковых изменений. Указывая на задачу изучения процессов, происходивших в русском языке после 1917 г., как на одну из актуальных задач отечественного языкознания, он подчеркивал, что для понимания этих процессов и для предвидения их развития в будущем необходимо “общее учение об эволюции языка <...>. Иначе говоря, мы нуждаемся в лингвистической историологии”, т. е., пояснял Е. Д. Поливанов, в учении “о механизме языковой эволюции” [Поливанов 1931: 25].

Придавая большое значение социальному контексту, в котором развивается язык, Е. Д. Поливанов в то же время предостерегал от фетишизации социальных факторов, от попыток всё в языке объяснять воздействием экономических и политических сил (такой подход был характерен для марризма). В языке действуют и его внутренние законы, “устанавливаемые для языка вне времени и пространства”, социальными же факторами бывает “предопределена конечная цель языкового развития” [Поливанов 1928: 175]. «Признание зависимости языка от жизни и эволюции общества, — писал он в одной из своих статей, — вовсе не отменяет и не отрицает значения естественно-исторических “теорий эволюции” языка» [Поливанов 1928: 40].

Какие же закономерности вскрывает лингвист, исследующий язык под социальным углом зрения? В развитии языка, считал Е. Д. Поливанов, сложно взаимодействуют собственно языковые, внутренние, и внешние, социальные факторы. Характер этого взаимодействия и роль каждой группы факторов он подробно анализирует в ряде своих работ. Он приходит к выводу, что социальные факторы не могут изменять природу языковых процессов, но от них «зависит решение 1) быть или не быть данного рода языковой эволюции вообще и 2) видоизменение отправных пунктов развития» [Поливанов 1968: 211].

Ход языкового развития Е. Д. Поливанов сравнивал с работой поршней паровоза. Подобно тому как какой-либо общественный сдвиг не может заставить поршни двигаться не параллельно, а перпендикулярно рельсам, какой-либо фактор экономического или политического характера не может изменить направление фонетических и других процессов, т. е. «чтобы, например, вместо *ц* или *ч* (из *к* смягченного) получился какой-нибудь другой звук — *ф*, *х*, *э* или т. п.» [Там же: 1968: 226].

Социальные факторы влияют на язык не непосредственно. Основной путь их воздействия, по мнению Е. Д. Поливанова, таков: «Экономико-политические сдвиги видоизменяют контингент носителей языка (или так называемый социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его эволюции» [Там же: 86]. Яркий пример такого рода видоизменений дает русский литературный (или, как называл его Е. Д. Поливанов, стандартный) язык послереволюционной эпохи. В конце 1910—1920-х годов значительно изменился состав носителей русского литературного языка: кроме старой интеллигенции, которая традиционно составляла основной слой литературно говорящих людей, литературными нормами овладевали демократические слои населения — рабочие, крестьяне, новая, «красная» интеллигенция. Изменение состава носителей обусловило новую цель языковой эволюции — создание языка, единого для всех социальных слоев, объединяемых в новом коллективе носителей, «ибо потребность в перекрестном общении обязывает к выработке единого общего языка (т. е. языковой системы) взамен разных языковых систем, каждая из которых не способна к обслуживанию нового коллектива полностью» [Там же: 87].

В ходе этого процесса выясняется, язык какой из объединяемых социальных групп «будет “играть первую скрипку” в эволюции, направленной к установлению единообразной (для всех данных групп) системы речи» [Там же: 212].

Эта мысль Е. Д. Поливанова замечательна тем, что предвосхищает более поздние по времени разработки в области теории социальных групп. В современных социологических и социолингвистических исследованиях ориентацию говорящих на язык какой-либо одной общественной группы связывают с понятием *социального престижа*: чем более престижен статус группы в глазах всех других членов данного социума, тем вероятнее, что именно ее язык способен служить образцом для подражания. Такой социально престижной языковой подсистемой обычно является язык наиболее культурной части общества, однако при определенных условиях шкала оценок может сдвигаться в сторону иных социальных групп. Так, в преступной среде высоким престижем пользуются те, кто владеет воровским аргом.

Выработка единого общего языка, о которой говорит Е. Д. Поливанов, идет неравномерно на разных участках языковой системы. Это объясняется тем, что уровни структуры языка — лексика, фонетика, морфология, синтаксис — неодинаково восприимчивы к влиянию социальных факторов. В наибольшей степени подвержены такому влиянию лексика и фразеология: изменения в жизни общества отражаются в этих сферах языка в виде новых наименований и оборотов, в переосмыслении старых слов, в заимствованиях и т. п. «Лексика (с фразеологией) — единственная область языковых явлений, где само содержание культуры (данного коллектива в данную эпоху) отражается более или менее непосредственно. Вот почему здесь быстрее всего (даже в пределах языка одного и того же поколения) может обнаруживаться результат социально-экономической мутации» [Там же: 208].

При обосновании тезиса о прямом и непосредственном воздействии социальных факторов на лексику и фразеологию Е. Д. Поливанов обращал внимание преимущественно на количественные изменения в словаре, на переменны в его составе (главным образом на уход одних слов и появление других, новых). Накапливаясь, эти количественные изменения в дальнейшем привели и к качественным сдвигам.

гам в лексико-семантической системе русского языка: к изменению в смысловых (парадигматических и синтагматических) связях между словами различных классов и групп, в их стилистической прикреплённости и эмоциональной окраске, к новым видам взаимодействия общеупотребительной и терминологической лексики и т. п. (эти процессы подробно описаны в четырехтомном труде “Русский язык и советское общество” [РЯиСО 1968]).

Естественно, что на том незначительном временном отрезке, который рассматривал Е. Д. Поливанов, анализируя изменения в русском языке, таких качественных сдвигов произойти еще не могло. И Е. Д. Поливанов ничего о них не говорит, даже по отношению к будущему русского языка.

Обращаясь к изменениям на других уровнях языковой структуры — в фонетике и морфологии, Е. Д. Поливанов выдвигает два тезиса: 1) явления этих уровней в гораздо меньшей степени, чем лексика, проницаемы для влияния социальных факторов; 2) количественные накопления фонетических черт в индивидуальных “языках” говорящих лишь очень медленно, постепенно приводят к качественным изменениям в общей фонетической системе языка.

Обусловленные социальными сдвигами языковые новшества накапливаются неравномерно не только на разных уровнях языковой структуры, но и в различной языковой среде. Одни группы говорящих консервативны, последовательно придерживаются старой нормы (как, например, большая часть интеллигенции), в речи же других наблюдается смешение разнородных черт — литературных, диалектных, просторечных, профессиональных. Это ставит перед учеными вопрос о необходимости изучать “социально-групповые диалекты”. Е. Д. Поливанов не только отчетливо показал, для чего нужно такое изучение, но и дал интересные примеры описания характерных признаков некоторых социально-языковых подсистем в своих работах “Фонетика интеллигентского языка”, “О фонетических признаках социально-групповых диалектов и, в частности, русского стандартного языка” и др.

Социолингвистическая концепция языковой эволюции, которую Е. Д. Поливанов последовательно отстаивал во многих своих работах, была несвободна от некоторых ошибок. Одни из них можно объяснить влиянием “духа

времени” (таково, например, его мнение о классовом характере литературного языка, о том, что им владеет господствующий класс общества), другие — преувеличением роли социальных факторов в развитии языка в эпохи коренных преобразований в обществе. Так, Е. Д. Поливанов считал, что в эпоху революционных катаклизмов темп языковой жизни убыстряется. Как показали дальнейшие исследования русского и других языков, темп языковой эволюции во многом зависит от уровня развития литературного языка — чем более он развит, тем медленнее темп происходящих в нем изменений. В связи с этим гораздо более справедливым представляется знаменитый поливановский парадокс: развитие литературного языка заключается, в частности, в том, что он все меньше изменяется.

Влияние Е. Д. Поливанова на развитие теории языковой эволюции и на становление социолингвистики оказалось столь глубоким, что без ссылок на его идеи и труды до сих пор не обходится ни одно серьезное социолингвистическое исследование, касающееся проблем эволюции языка.

2.3.2. Некоторые современные социолингвистические концепции языкового развития

Современная социолингвистика отличается чрезвычайно богатым разнообразием взглядов на социальные механизмы языковых изменений. Мы ограничимся характеристикой двух наиболее известных концепций, принадлежащих, соответственно, русскому языковеду Михаилу Викторовичу Панову и американскому социолингвисту Уильяму Лаббву.

2.3.2.1. Теория антиномий

Согласно концепции, изложенной в уже упоминавшемся труде “Русский язык и советское общество” [РЯиСО 1968], в развитии языка ключевую роль играют так называемые *антиномии* — постоянно действующие противоположные друг другу тенденции, борьба которых и является движущим стимулом языкового развития. Важнейшие из антиномий следующие: *антиномия говорящего и слушающего, системы и нормы, кода и текста, регулярности и экспрессив-*

ности. На каждом конкретном этапе развития языка антиномии разрешаются в пользу то одного, то другого из противоборствующих начал, что ведет к возникновению новых противоречий, и т. д. Окончательное разрешение антиномий невозможно: это означало бы, что язык остановился в своем развитии.

Так, **антиномия говорящего и слушающего** разрешается то в пользу первого, то в пользу второго: то в языке получают развитие “редуцированные” способы выражения — процесс, отражающий интересы говорящего, который стремится к экономии речевых усилий; то, при других социальных условиях, начинают преобладать расчлененные формы и конструкции, что отвечает интересам слушающего (в полной, расчлененной форме, будь это отчетливо произносимое слово или законченная синтаксическая конструкция, легче распознать смысл передаваемого сообщения, чем в форме свернутой, редуцированной).

Например, в русском языке 20-х годов XX столетия была сильна тенденция к сокращению наименований, к стяжению их в аббревиатуру: *начпрод, комбед, реввоенсовет, ЦК, нэп* и т. п. Этот процесс затронул и чисто бытовые формы речи и нашел отражение в литературе того времени. Популярный в прошлом “Дневник Кости Рябцева” Николая Огнева содержит такой диалог:

« — Ну, *довам*, — сказал я на прощанье.

— Это как же понимать?

— *Доволен вами*, это вместо “спасибо”. Спасибо — это ведь спаси бог и, значит, — религиозное».

В современном языке наряду с аббревиатурами распространены расчлененные наименования типа *заместитель директора по науке, инженер по технике безопасности*, не сокращаемые до слоговых или инициальных аббревиатур.

Антиномия системы и нормы заключается в том, что система “позволяет” всё, что не противоречит законам данного языка, а норма отбирает, фильтрует то, что разрешается системой, и допускает к употреблению далеко не всё из того, что “позволено” системными возможностями языка. Характерная для современной русской морфологии экспансия флексии *-á (-я)* в именительном падеже множественного числа на все более широкий круг существительных мужского рода (*цехá, слесаря, сектора, прожекторá, инспекторá* и т. п.) — пример разрешения конфликта между системой и

нормой в пользу системы. Однако в разных субкодах русского национального языка этот процесс реализуется с неодинаковой степенью полноты: для профессиональной речи формы с названной флексией естественны и органичны (ср. *взводá* — в языке военных, *пеленга* — у моряков, *супá* и *тортá* — у поваров и кондитеров и т. п.), не менее частотны они в просторечии, где возможны даже *очередя́, матеря́* — вместо *очереди, матери* (иначе говоря, экспансии флексии *-á (-я)* подвержены и существительные женского рода), а литературный язык, во-первых, тщательно фильтрует подобные формы, пропуская в употребление одни и отсеивая другие, и, во-вторых, значительную часть уже допущенных форм снабжает разного рода ограничительными пометами типа словарных помет “проф.”, “прост.”, “разг.”, отдавая, таким образом, предпочтение традиционным формам на *-ы (-и)* для стилистически нейтральных контекстов.

Антиномией кода и текста М. В. Панов обозначил противоречие между набором языковых единиц (фонем, морфем, слов) и текстом, который строится из этих единиц. Чем меньше набор единиц, тем длиннее должен быть текст, передающий то или иное содержание, поскольку каждый “квант” содержания может быть передан в большинстве случаев не отдельной единицей (их мало), а комбинацией единиц. И наоборот, чем больше набор единиц, тем короче текст: каждому “кванту” содержания соответствует отдельная единица кода. В развитии языка действуют две противоборствующие тенденции: к сокращению и, значит, упрощению кода (набора единиц) и к сокращению, т. е. упрощению, текста. Разрешается это противоречие то в пользу кода, то в пользу текста.

Известный пример сокращения кода в современной русской лексике — постепенное вытеснение из речевого оборота некоторых терминов родства: *шурин, деверь, золовка* — и появление на их месте описательных наименований: *брат жены, брат мужа, сестра мужа*. Сейчас такому вытеснению стали подвергаться и некоторые другие термины родства: вместо *тесть* все чаще говорят *отец жены*, вместо *свекровь* — *мать мужа*; заметим, однако, что подобная замена, по-видимому, не грозит слову *теща*, которое в русской культурно-речевой традиции осложнено множеством коннотативных (сопутствующих основному значению слова) связей.

Пример увеличения кода: заимствование иноязычных слов для обозначения понятий, которые по-русски могут быть названы только описательно — с помощью двух-, трех-словных сочетаний: *снайпер — меткий стрелок, мотель — гостиница для автотуристов, стайер — бегун на длинные дистанции* и т. п. Можно было бы в подобных случаях обойтись и без заимствований, не увеличивая число знаков словарного кода. Но в таком случае пришлось бы удлинять текст — из-за употребления описательных оборотов, обозначающих указанные понятия. Характерно, что в русском языке 1920-х годов преобладали описательные, “разъясняющие” наименования, что было вполне понятно и оправданно в условиях демократизации литературного языка, приобщения к нему широких масс людей, которые раньше не владели литературной нормой (увеличение словаря путем новых иноязычных заимствований означало бы для них еще одну трудность в освоении литературного языка). Русский язык конца XX в. идет по пути заимствования иноязычной лексики, тем самым на этом участке языковой системы антиномия кода и текста разрешается преимущественно в пользу кода.

Действие антиномии кода и текста также небезразлично к тому, в какой языковой подсистеме, в какой речевой среде она проявляется. Как правило, эта антиномия разрешается в пользу кода (он увеличивается) в *социально замкнутых* коллективах говорящих. Так, в социальных и профессиональных жаргонах, которые и характерны для подобных замкнутых коллективов, имеется, как правило, богатый, детализированный словарь для обозначения определенных реалий и видов деятельности (в воровском аргоне, например, чрезвычайно детально различаются по названиям виды краж, “специалисты” по каждому из этих видов: *домушник, ширмач, скокарь, медвежатник*, разновидности орудий преступления и т. п.). В специальных технических и научных терминологиях активно действует тенденция к установлению одно-однозначных отношений между термином и его содержанием (многозначные термины нежелательны).

Напротив, в социально не замкнутых, “текущих” коллективах, где языковые привычки говорящих постоянно испытывают воздействие речевых особенностей других групп,вливающих в состав носителей данной языковой подсистемы, код сокращается, зато текст испытывает тенденцию к

удлинению. Это естественно: в речи людей, составляющих подобные текучие коллективы, сохраняются лишь знаки, общие для всех членов коллектива. С помощью этого набора знаков (слов, аффиксов и т. п.) передается любое содержательное сообщение, причем объединение различных знаков, необходимое для выражения тех или иных смыслов (которым нет “однознакового” соответствия в коде), ведет к увеличению текста.

Антиномия регулярности и экспрессивности питается соответственно информационной и эмотивной функциями языка. Информационная функция наиболее последовательно выражается с помощью однотипных, стандартных, регулярно образуемых языковых средств (передача информации эффективна без наличия информационного “шума”, а в качестве такового может выступать неоднозначность или метафоричность языковой единицы, нестандартность ее структуры и т. п.). Эмотивная функция, напротив, в своем выражении опирается на экспрессивную окрашенность языковых единиц, их нестандартность, идиоматичность, т. е. на такие свойства, которые противопоказаны чистой информации.

«В каждом ярусе языка есть единицы, подчиняющиеся какому-то общему правилу, и единицы, которые регулируются другим, менее сильным правилом, — пишет М. В. Панов. — Постоянно действует тенденция уподобить слабую часть системы более сильной, подчиняющейся более общему правилу. Это — тенденция, стимулированная языком в его чисто информационной функции. Если в языке есть агглютинативные и фузионные единицы, то неизбежно возникает стремление обобщить их или в сторону последовательной, полной агглютинативности, или в сторону полной фузионности.

Но такие устремления сталкиваются с противоположными — с постоянной тенденцией сохранить для экспрессивных целей выделенность, “отчужденность” некоторых единиц. Каждая единица языка имеет и чисто информационное, и (в той или иной степени) экспрессивное назначение; следовательно, эта антиномия определяет жизнь каждой единицы языка» [Панов 1968: 27–28].

Пример противоборствующих тенденций к регулярности и к экспрессивности — создание, с одной стороны, упорядоченных систем специальных терминологий в соответствующих сферах науки и техники, со строго “прозрачными”

отношениями между терминами и стандартными дефинициями, а с другой — метафоризация общеупотребительных слов с целью создать экспрессивные профессионально-жаргонные аналоги к официальным терминам (*кастрюля* вместо *синхрофазотрон*, *болтанка* — вместо *люфт*, *баранка* в значении 'ноль очков' и т. п.).

И эта антиномия, как легко видеть, не асоциальна: при одних условиях развития языка, в одних коллективах говорящих легче побеждает тенденция к регулярности, при иных социальных условиях и в иных социальных группах — тенденция к экспрессивности. Так, в развитых литературных языках, особенно в книжной их разновидности, рельефно проявляется тенденция к регулярности (это способствует стабильности литературной нормы), а в групповых (профессиональных и социальных) жаргонах сильна тенденция к экспрессивности.

Антиномии — наиболее общие закономерности языкового развития. Разумеется, они не отменяют действие конкретных социальных факторов, формирующих своеобразный контекст эволюции каждого языка. Однако они не являются и чем-то отдельным от социальных факторов: тесное взаимодействие тех и других, "наложение" определенных социальных условий на действие каждой из антиномий и составляет специфику развития языка на разных этапах его истории.

В отличие от антиномий, охватывающих своим действием языковую систему в целом, **социальные факторы** неодинаковы по своему влиянию на язык. Они имеют разную лингвистическую значимость: одни из них, *глобальные*, действуют на все уровни языковой структуры, другие, *частные*, в той или иной мере обуславливают развитие лишь некоторых уровней.

Что же считается социальным фактором, влияющим на языковую эволюцию? Это, например, изменение круга носителей языка; распространение просвещения; территориальные перемещения людей (миграция); создание новой государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы языка; развитие науки; крупные технические новшества и изобретения (никто не станет спорить, например, с тем, что изобретение книгопечатания, радио, внедрение в быт каждого человека телевидения явились социальными факторами, повлиявшими на сферы использования языка,

массовая компьютеризация многих видов деятельности в тех или иных формах отражается и в языке, а также в речевом поведении носителей языка, и т. п.).

Примером глобального социального фактора является изменение состава носителей языка. Оно ведет к изменениям в фонетике, в лексико-семантической системе, в синтаксисе и, в меньшей степени, в морфологии языка⁹. Так, изменение состава носителей русского литературного языка в 20–30-е годы XX в. повлияло на произношение (в сторону его *букваллизации*: вместо старомосковского нормативного *було[шн]ая*, *смеял[са]* и *ти[хы]й* стали говорить *було[чн]ая*, *смеял[с'а]*, *ти[х'и]й*), на лексико-семантическую систему: заимствование слов из диалектов и просторечия повлекло за собой перестройку парадигматических и синтагматических отношений внутри словаря; в литературный оборот были вовлечены синтаксические конструкции, до тех пор распространенные в просторечии, диалектах, в профессиональном речевом обиходе (таковы, например, по происхождению обороты типа *плохо с дровами*, *проверка воды на зараженность химическими отходами* и под.); под влиянием некодифицированных подсистем языка увеличилась частотность форм на *-á* (*-я́*) в именительном падеже множественного числа существительных мужского рода и т. п.

Пример частного социального фактора — изменение традиций усвоения литературного языка. В XIX — начале XX в. в дворянско-интеллигентской среде преобладала устная традиция — во внутрисемейном общении, путем передачи произносительных и иных образцов речи от старшего поколения к младшим. В связи с демократизацией состава носителей литературного языка стала распространяться и даже преобладать форма приобщения к литературному языку через книгу. Этот фактор повлиял главным образом на нормы произношения: наряду с традиционными произносительными образцами стали распространяться новые, более близкие к орфографическому облику слова (примеры см. выше).

Итак, в социолингвистической концепции М. В. Панова и его школы основной упор делается на тесное взаи-

⁹ Общеизвестно, что морфологическая система наиболее устойчива к внешним влияниям. Поэтому даже те социальные факторы, действие которых проявляется на всех уровнях языковой структуры, в морфологии имеют минимальные рефлекссы.

модействие собственно языковых закономерностей (антиномий) и социальных факторов; последние понимаются как условия, способствующие (или, напротив, препятствующие) проявлению той или иной внутренней закономерности развития языка.

2.3.2.2. Теория языковой эволюции У. Лабова

Отталкиваясь от “ахронического”, вневременного подхода к языку, представленного в порождающей грамматике Н. Хомского, и критикуя Хомского и его последователей за их пренебрежение к языковой реальности, У. Лабов предложил концепцию языкового развития, основанную на тщательно проанализированных данных о действительной, живой речи современных американцев. Хотя У. Лабов рассматривает в основном фонетические изменения, их интерпретация представляет интерес и в более широком плане, с точки зрения эволюции языка вообще.

У. Лабов исходит из того, что изменения в структуре языка не могут быть правильно поняты без учета сведений о языковом сообществе, которое пользуется этим языком. Так, изменения в фонологической системе можно проследить, лишь наблюдая за речью изучаемого коллектива носителей в течение более или менее длительного времени, сравнивая произносительные характеристики этой речи на разных временных срезах. Исследуя полученный таким путем материал, социолингвист сталкивается с необходимостью решить три проблемы: 1) *проблему перехода*: как, каким путем один этап языкового изменения сменяется другим? 2) *проблему контекста*: надо найти “непрерывную матрицу социального и языкового поведения, в которую заключено языковое изменение” и 3) *проблему оценки*: как говорящие оценивают те языковые факты, которые наблюдает исследователь [Лабов 1975а: 201–202].

Решая эти проблемы на примере анализа речи небольшого коллектива говорящих на американском варианте английского языка, У. Лабов выделяет такие этапы, характеризующие механизм языкового изменения:

1) начало изменения — в ограниченной подгруппе языкового сообщества; данная языковая форма усваивается всеми членами подгруппы;

2) последующие поколения говорящих внутри той же подгруппы воспринимают данное изменение как признак речи старшего поколения;

3) в той мере, в какой ценности данной подгруппы воспринимаются другими подгруппами, это языковое изменение распространяется в остальные подгруппы;

4) постепенно сфера распространения новшества совпадает с границами языкового сообщества;

5) под влиянием новшества перестраивается фонологическая система языка, обслуживающего данное сообщество;

6) структурные перегруппировки влекут за собой новые изменения, связанные с первыми, и цикл повторяется.

Однако этим эволюционный процесс не ограничивается. Важен социальный статус той подгруппы, внутри которой зародилось данное новшество. Если эта подгруппа не занимает господствующего положения в сообществе, то члены привилегированных подгрупп подвергают новшество осуждению. С этого начинается исправление измененных форм “в сторону образцов, которых придерживается подгруппа с наивысшим социальным статусом, т. е. образцов, пользующихся *престижем*” [Лабов 1975а: 225]. Отсюда путь к стилистическому разграничению: престижный образец используется в полных, официальных стилях речи, а новшество, одобряемое лишь частью говорящих (определенной их подгруппой), распространено в непринужденной речи. Если изменение возникает в подгруппе, имеющей высший социальный статус, то оно становится господствующим образцом для всех членов данного языкового сообщества.

Давая эту схему языкового изменения, У. Лабов подчеркивает, что “внутренние (структурные) и социолингвистические факторы в процессе языкового изменения вступают в систематическое взаимодействие друг с другом” [Там же: 228]. Эта мысль объединяет теорию У. Лабова с теорией антиномий, о которой речь шла выше. Однако предложенная У. Лабовом схема вряд ли может претендовать на роль универсального представления всякого языкового изменения: новшества в фонетической системе (или на каком-либо другом уровне языковой структуры) могут проходить и через другие этапы, становясь в конце концов достоянием коллектива говорящих. Но, конечно, — и У. Лабов здесь, бесспорно, прав, — языковое изменение происходит в

социальном контексте, и “нельзя вначале произвести анализ структурных соотношений внутри языковой системы, а потом обратиться к внешним факторам” [Там же]¹⁰.

С точки зрения функционирования языка в разных группах говорящих и сосуществования в одном языковом сообществе различных норм и систем ценностей интересно исследование У. Лабовом вопроса о влиянии социальной мобильности на речь носителей современного американского варианта английского языка [Labov 1966a].

Согласно результатам этого исследования, та часть населения, которая социально движется “снизу вверх” (из низших слоев в высшие), “воспринимает нормы внешней референтной группы — как правило, нормы группы, более высокой по социальному уровню”. Те говорящие, которые “социально стабильны” (т. е. не покидают пределов слоя, к которому принадлежат), обнаруживают тенденцию к тому, чтобы придерживаться своих собственных языковых норм, “более точно — к достижению некоего баланса собственных и внешних норм, который находит себе отражение в речевой практике, лишенной значительных стилистических колебаний”. Наконец, носители языка, для которых характерно перемещение “сверху вниз” (в более низкие социальные слои), не воспринимают большую часть нормативных моделей, которые присущи этой, более низкой социальной среде.

Из своих наблюдений У. Лабов делает вывод, что в современном городе “языковая стратификация является отражением скорее систем социальных ценностей, чем систем социального существования”. Иначе говоря, в языковых различиях, обусловленных социальными различиями носителей языка, получает отражение не прямо и непосредственно различия в экономическом и социальном статусе групп говорящих, а различия в ценностной ориентации, присущей каждой такой группе.

¹⁰С этим утверждением американского исследователя перекликается давнее высказывание академика В. В. Виноградова: “Не следует думать, что законы развития языка, вытекающие из его общественной сущности, из его общественных функций, и законы, вытекающие из структуры языка, — это разные, взаимно не связанные закономерности как бы разных планов функционирования языка. На самом деле они взаимообусловлены и неразрывны” [Виноградов 1952: 33].

Сравнение двух кратко охарактеризованных концепций языковой эволюции выявляет некоторые их сходства и различия. Основное сходство заключается в том, что и та и другая школы социолингвистики исходят из представления о сложном характере взаимоотношений языка и общества, об отсутствии прямых аналогий и жестких зависимостей между социальными и языковыми процессами и структурами, о многоступенчатости влияния изменений, происходящих в обществе, на изменения в языке.

При этом для отечественной школы социолингвистики вплоть до конца XX в. было характерно преимущественное внимание к макропроцессам, происходящим в языке и в обществе, а многие представители американской социолингвистики (и в их числе У. Лабов) более склонны к анализу микропроцессов, которые характеризуют социальную и языковую жизнь сравнительно небольших человеческих групп (более подробно о различии макро- и микропроцессов в языке и языковой жизни социальных объединений см. в разделах “Макросоциолингвистика” и “Микросоциолингвистика” главы 4-й).

2.4. Смешение языков. Пиджины и креольские языки

Когда у потенциальных собеседников нет взаимопонятных средств общения, а коммуникативная задача относительно сложна и не может быть решена при помощи элементарных жестов, коммуниканты создают новое средство общения — вспомогательный смешанный язык с крайне ограниченным словарем и минимальной, неустоявшейся грамматикой. Языки такого типа, а также их возможные эволюционные продолжения — пиджины и креольские языки (креолы) — называют **контактными языками**, а исследующий их раздел лингвистики — **контактологией**, или — чаще — **креолистикой**.

Основы креолистики заложены еще в XIX в. Х. Шухардтом, однако как самостоятельное направление в лингвистике она стала развиваться лишь с 1950-х годов. Поскольку специфика контактных языков целиком обусловлена социальной ситуацией их возникновения и становления,